

Скуки не было

Под таким названием в московском издательстве "Аграф" выходит первая книга мемуаров известного литературоведа и прозаика Бенедикта Сарнова. Несмотря на времена, им описываемые, скуки действительно не было...

В предлагаемой читателям главе из будущей книги звучит и тема Одессы. А открывает эту главу знаменитая песня "Одесса-мама", написанная еще в 1938 году москвичами Евгением Аграновичем и Борисом Смоленским...

Одесса-мама

В тумане тают белые огни...
Сегодня мы уходим в море прямо.
Поговорим за берега твои,
Родимая моя Одесса-мама.

Мне здесь родиться было суждено
И каждый день любить тебя впервые.
Одесса, мне не пить твое вино
И клешем не уютжить мостовые.

Мы все хватаем звездочек с небес.
Наш город гениальностью известен:
Утесов Леня парень фун Одесс,
А Инбер тоже бабеля из Одессы.

Сам Агасфер — старик космополит
Лечил в Одессе стрепанные нервы.
В своих трудах он прямо говорит:
"Одесса — это мама номер первый".

Был Одиссей бесспорно одессит,
За это вам не может быть сомненья!
А Сашка Пушкин тем и знаменит,
Что здесь он вспомнил чудного мгновенья.

Ты мне один-единственный маяк.
Мне жить теперь так грустно и отвратно...
О, сжался, сжался, мамочка моя,
Ой, мамочка, роди меня обратно!

Итак, у этой знаменитой песни было два автора. Но называют обычно только первого, что, конечно, несправедливо, хотя второму (Борису Смоленскому) принадлежит только один ее куплет.

Вот как рассказывает об этом своем друге-соавторе и об истории создания этой песни Евгений Агранович:

"Борька был на два года моложе меня, еще школьником — а я первокурсник, — но дружба была высшей пробы. Как поэту ему не дали раскрыться полностью, так рано убили на карельском фронте. Сохранилась тонкая тетрабочка стихов, порой блестящих, демонстрация таланта, обещание будущего взлета...

Однажды зашел я к нему, пишет что-то. Он бредил бурями и парусами, мечтал о кораблях и океанах. У него был готов куплет как бы от имени моряка, покидающего любимый порт. Но дальше автор не знал, куда плыть. Предложил мне продолжать, сославшись на занятость: надо было бриться. И что там росло? Ну, я переложил руля, круто свернул с морской романтики на дразнилку, гаерскую шутку.

Такая получилась песенка".

(Евгений Агранович. "Я в весеннем лесу пил березовый сок...". М., 1998, стр. 225.)

Публикуя песню, оставшийся в живых автор к строке "А Инбер тоже бабеля из Одессы" сделал такое подстрочное примечание: "А Бабель был еще живой, на свободе". Так оно и было, поскольку песенка была сочинена в 1938-м, а Бабеля арестовали год спустя, в 39-м.

Но и годы спустя, когда самое имя Бабеля давно уже было запретным, неупоминаемым, песенку про "Одессу-маму", вместе с этой вдруг ставшей крамольной строчкой, пели по всей стране. Я же с ней — и с единственным оставшимся в живых ее автором — познакомился в Литературном институте, куда поступил в 1946-м, и куда Женя Агранович, ушедший на войну с первого курса, как раз в это время вернулся.

Главное в этом нашем институте (так, во всяком случае, мне тогда казалось) происходило не на лекциях и даже не на семинарах. Из всей моей литинститутской жизни ярче всего мне запомнилась лестница и подоконник. На этом подоконнике, возле этого подоконника шла главная наша жизнь. Если я и научился чему-нибудь в Литинституте, так именно вот здесь, на этом подоконнике.

Читали мы там, у подоконника, стихи арестованного Манделя (Коржавина). И никому не приходило в голову, что это может быть опасно. (Впро-

чем, даже на каком-то общеинститутском собрании один из наших студентов-старшекурсников во всеуслышание с трибуны объявил, что арест Мандела он считает ошибкой, потому что арестовали этого великого путаника как раз в то время, когда он стал поворачиваться лицом к советской власти.)

Со смехом, но и с искренним восхищением читали ставшие потом знаменитыми, но тогда мало кому известные четверостишия Коли Глазкова:

Все говорят, что окна ТАСС
Моих стихов полезнее.
Полезен также унитаз,
Но это не поэзия.

С восторгом повторяли другое Колино четверостишие, сочиненное им в первый день войны:

Господи! Вступи за Советы!
Охрани страну от высших рас.
Потому что все твои заветы
Гитлер нарушает чаще нас.

И вот это:

Я на мирзираю из-под столика:
Век двадцатый, век необычайный!
Чем столетье интересней для историка,
Тем оно для современника печальнее.

Иногда там, у подоконника, возникал и сам Коля. Объяснял, откуда взялась первая, вроде бы никчемная строка этого четверостишия. По пьянке поспорил он как-то с приятелем, — сейчас уж не помню, о чем. По условиям спора проигравший должен был залезть под столик и, сидя там, выдать какой-нибудь новый — обязательно новый, только что родившийся — поэтический текст. Коля проиграл, и вот — выполнил условия этого, как оказалось, весьма плодотворного спора.

Появляясь у нас, Коля всякий раз приносил с собой очередную самодельную книжечку, на картонной обложке которой внизу, где полагалось обозначать, какое издательство выпустило книгу, было выведено: "Самсебяиздат". Или еще короче — "Самиздат". (Вот кто изобрел это, ставшее потом знаменитым, слово.) А на задней стороне обложки этих его самодельных книжечек неизменно значилось: "Тираж — 1 экз."

Похваставшись очередной своей самиздатовской книжкой, Коля предлагал всем, кто откажется, помериться с ним силой. Но стального его рукопожатия не мог перебороть ни один из наших институтских силачей. Даже Поженян, который частенько тут же, у этого подоконника, давал желяющим уроки бокса ("хук справа", "хук слева").

Поженян, кстати, кроме этих уроков бокса нередко демонстрировал но-вичкам — после не слишком долгих просьб и упрашиваний — свой коронный номер. Он читал стихотворение Блока (читал, кстати сказать, замечательно):

Ночь, улица, фонарь, аптека,
Бессмысленный и тусклый свет.
Живи еще хоть четверть века —
Все будет так. Исхода нет.

Умрешь — начнешь опять сначала,
И повторится все, как встарь:
Ночь, ледяная рябь канала,
Аптека, улица, фонарь.

Прочитав, становился на руки и, стоя в такой необычной позе, читал то же стихотворение, но уже в обратном порядке — от последней строки к первой:

Аптека, улица, фонарь.
Ночь, ледяная рябь канала...
И повторится все, как встарь:
Умрешь — начнешь опять сначала.

Все будет так. Исхода нет.
Живи еще хоть четверть века...
Бессмысленный и тусклый свет.
Ночь. Улица. Фонарь. Аптека.

Самым поразительным в этом эксперименте было то, что волшебное стихотворение Блока в перевернутом виде оставалось таким же чарующим. И — мало того! — не только весь эмоциональный настрой, но даже и смысл его при этом ничуть не менялся. Скажу даже больше: этот лихой Поженянов номер, пожалуй, даже усиливал трагизм блоковского стихотворения, так сказать, структурно обнажая и подтверждая главную его мысль: вертись хоть так, хоть этак, хоть становись с ног на голову — все равно. Жизнь — замкнутый круг. "Все будет так. Исхода нет".

Здесь же, у подоконника, певали мы любимые наши институтские песни. Главную из них, наш институтский гимн, сочинил Владик Бахнов:

Есть в городе бульвар небезызвестный,
А на бульваре памятников два.
Быть по соседству с ними очень лестно.
Но наш Лицей имеет все права!

Пусть Тимирязев повернулся задом,
И Пушкин прикрывает шляпой зад, —
Сыны Лицея будут только рады,
Что классики за ними не следят.

Знакомые дорожки и тропинки
И коридоров тесненький уют.
Здесь гении в изодранных ботинках
Высокое искусство создают.

До "Прогулок с Пушкиным" Андрея Синявского, вызвавших при своем появлении дружный вопль негодования — и у нас, и в эмиграции (там одна из рецензий на эту книгу называлась простенько, но мило: "Прогулки хама с Пушкиным"), — было еще ох как далеко! Но панибратское, фамильярное, амикошонское отношение к классику было свойственно нам уже тогда. И выражалось оно не только в озорной строчке из этого нашего институтского гимна ("И Пушкин прикрывает шляпой зад"), но и во многих других любимых наших песнях. Хотя бы вот в этой строке из "Одессы-мамы" про Сашку Пушкина, который "тем и знаменит, что здесь он вспомнил чудного мгновенья". Она, как и упоминание запретного имени Бабеля, тоже несла в себе некий особый, тайный смысл. Ведь еще в 37-м о Пушкине кем-то метко было сказано, что он стал членом Политбюро. А это значило, что так вот, запросто, трепать его имя даже опаснее, чем поминать всуе имя Господа Бога. Пожалуй, не менее опасно, чем имя земного нашего бога — Сталина.

Женя Агранович не только сочинял стихи, но и сам подбирал к ним мелодии. О нем можно сказать, что он был первым нашим бардом. (А ведь еще целую эпоху — и какую! — предстояло прожить до появления первых песен Булата, Галича, Высоцкого.) Не могу утверждать, что мелодия песни про Одессу была им сочинена. Скорее — именно подобрана. Но прелесть этой, как и многих других его песен, состояла в том, что текст ее рождался одновременно с мелодией. Мелодия была не одеждой, не платьем, а плотью песни. Текст и мелодия были, как сказано в Евангелии про мужа и жену, — единая плоть. И этому ничуть не мешало то обстоятельство, что иногда Женя подбирал (тут, пожалуй, даже уместнее сказать — сочинял) мелодии и на чужие тексты.

Самой знаменитой (без преувеличения можно сказать, знаменитой на всю страну) была в те годы песня "Пыль", написанная им в соавторстве с Редиардом Киплингом. Точнее, — с переводчицей британского поэта

А. Анашкович-Яциной, которая создала совершенно изумительный русский текст этого киплинговского стихотворения:

День-ночь-день-ночь — мы идем по Африке,
День-ночь-день-ночь — все по той же Африке —
(Пыль-пыль-пыль-пыль — от шагающих сапог!)
Отпуска нет на войне!..

Брось-брось-брось-брось — видеть то, что впереди,
(Пыль-пыль-пыль-пыль — от шагающих сапог!)
Все-все-все-все — от нее сойдут с ума,
И отпуска нет на войне!..

Я-шел-сквозь-ад — шесть недель, и я клянусь,
Там-нет-ни-тьмы — ни жаровен, ни чертей,
А только пыль-пыль-пыль — от шагающих сапог,
И отпуска нет на войне!

Эту свою песню Женя сочинил в сорок первом. В первые дни войны был сформирован в Москве из студентов и других добровольцев 22-й истребительный батальон. В числе этих добровольцев были и наши — литинститутовцы: Миша Львовский, Сергей Наровчатов, Сергей Смирнов (будущий автор "Брестской крепости"). Был среди них и он — Женя Агранович. В своей роте он был запевалой. Но что петь? "Если завтра война?" — так война была уже сегодня, и сразу стало ясно, что будет она совсем не такая, как предсказывалось в той бодряцкой песне. Так же мало годились в той обстановке и другие предвоенные советские песни про то, как, "гремя огнем, сверкая блеском стали, пойдут машины в яростный поход" и "первый маршал в бой нас поведет".

На марше всплыли у Жени в голове любимые строчки Киплинга, и он сам не заметил, как из топота сапог и хриплого дыхания товарищей стала складываться, рождаться мелодия. Сперва робко, неуверенно попробовал запеть. Товарищи по роте — свои, литинститутские мальчишки — слова Киплинга знали не хуже, чем он. Тут же подхватили. А через день новую песню на марше пел уже весь батальон. И даже комиссар пел вместе со всеми стихи "барда британского империализма".

Что-то он, правда, почувствовал своим партийным, классовым чутьем. Спустя несколько дней сказал Жене:

— Песня хорошая. Только вот слова какие-то не наши. Ты б заменил, а? Заменить все киплинговские слова было не в Жениной власти: песня

ему уже не принадлежала. Но постепенно к каноническим, киплинг-ским куплетам он стал добавлять новые, свои:

Семь-дней при-каз: шире шаг и с марша в бой!
Но драз-нит нас близкий дым передовой.
Пыль-пыль-пыль-пыль от шагающих сапог
Отдыха нет на войне.

Го-да прой-дут, — вспомнит тот, кто уцелел.
Не смерт-ный труд, не бомбежку, не обстрел,
А только пыль-пыль-пыль от шагающих сапог,
Отдыха нет на войне.

В этих новых, Жениных куплетах не было и тени крамолы (да, собственно, и в киплинг-ских тоже — разве только одиозное имя их автора). Сочиняя эту свою песню, он и думать не думал о том, чтобы встать "поклонениям и толпам поперек", противопоставив ее строй и лад строю и ладу тех бодрых, зажигательных маршей, которые неслись тогда из всех репродукторов: "Легко на сердце от песни веселой...", "Нам песня строить и жить помогает...", "Только в нашей стране дети брови не хмурят, только в нашей стране песни радуют слух...", "Кто весел, тот смеется, кто хочет, тот добьется, кто ищет, то всегда найдет!.."

Энергия этого повсеместно звучащего "марша энтузиастов" полностью исчерпала себя в более поздние времена. (Тогда-то покорили в одночасье всю страну песни Булата, Галича, Высоцкого.) Но и в те времена, о которых я рассказываю, энергия эта уже стала постепенно иссякать. И само собой вышло так, что марш Киплинга в аранжировке Жени Аграновича — быть может, даже независимо от намерений и воли автора — стал противовесом этому, уже порядком обрыдшему всем нам "маршу энтузиастов".

Годы спустя, уже в новую, другую эпоху, у другого литинститутского поэта, Миши Львовского, — как я уже сказал, он тоже в первые дни войны был в том 22-м истребительном батальоне, — выплеснулось из души такое коротенькое стихотворение:

Самогон — фольклор спиртного.
Запрети, издай указ,
Но восторжествует снова
Самодеятельность масс.
Тянет к влаге — мутной, ржавой,
От казенного вина,
Словно к песне Окуджавы,

Хоть и горькая она.

Нефильтрованные чувства
Часто с привкусом, но злы.
Самогонщик, литр искусства
Отпусти из-под полы!

Так вот, хотел того Женя Агранович или не хотел, но его "киплинговский марш" был именно вот таким "самогоном", к которому всех нас инстинктивно тянуло тогда "от казенного вина".

Таким "самогоном", к которому всех нас тянуло "от казенного вина", были все тогдашние наши институтские шлягеры. Даже самые невинные. Терпкий аромат этого "самогона" был сладок нам уже только тем, что в нем начисто отсутствовал тот "особый запах тюремных библиотек, который исходил от советской словесности". (Выражение В. Набокова.)

Почти все они были пронизаны духом пародии. И, конечно, не только потому, что главным их автором был будущий знаменитый наш пародист Владлен Бахнов. (Иногда он сочинял их в соавторстве с кем-нибудь, чаще в одиночку.)

В одной из своих песен-эпиграмм Владик ненароком прикоснулся к теме, которой в недалеком будущем предстояло обрести весьма далекий от юмора смысл. Но тогда она еще звучала юмористически и вполне безмятежно:

Агранович нынче — Травин,
И обычай наш таков:
Если Мандель стал Коржавин,
Значит, Мельман — Мельников!

Тут, пожалуй, не до смеха:
Не узнает сына мать!
И старик Шолом-Алейхем
Хочет Шолоховым стать!

Беспечный автор этих строк словно предчувствовал, что скоро тут будет совсем не до смеха: ведь сочиняя их, он, как и мой покровитель Борис Владимирович Яковлев, еще не знал, что вот-вот разразится землетрясение.

Но даже в тех песнях и стихах, в которых, казалось бы, даже самый строгий цензор не мог бы унюхать никакой крамолы, все равно было что-то "самогонное", рожденное инстинктивным отталкиванием от тошнотворного "казенного вина". Ну какими своими приметам могла противостоять "запаху тюремных библиотек" такая, например, не шибко осмыс-

ленная песня, тоже принадлежавшая к числу самых наших любимых (она досталась нам в наследство от литинститутцев старшего поколения):

Я влюблен в шофершу Нинку робко,
Вам в подарок от меня коробка.

Подаю, как кавалер, манто вам,
И стихи поэта Лермантова.

По заборам я, голуба, лазаю,
Чтоб увидеть вас, голубоглазую.

А душа поет, как флажолета,
Выпирая из угла жилета.

Были там еще какие-то строчки, которых я уже не помню. Помню только, что заканчивался этот иронический романс так:

Уроню аккорды с пианина,
Сядь со мной на форд и спи, о Нина!

Исходящий ото всей тогдашней печатной продукции "запах тюремных библиотек", о котором говорил Набоков, был неистребим. Им были отравлены даже талантливые и честные книги, чудом прорывавшиеся сквозь все мыслимые и немислимые цензурные и редакторские заслоны.

Их было не так уж мало, этих честных и талантливых книг. Но, проникая в печать, они словно бы вываривались в общем котле советской пропаганды и тоже приобретали этот неуловимый запах, отличавший их от подлинно свободных сочинений, как отличается белье, полученное из прачечной, от выстиранного в речной воде и высушенного солнцем и ветром на вольном воздухе.

Вот поэтому-то неподцензурный куплет какой-нибудь шуточной песенки, озорная строка, непочтительностью своей по отношению к каким-нибудь официально узаконенным государственным святыням граничившая с хулиганством ("А Сашка Пушкин тем и знаменит, что тут он вспомнил чудного мгновенья...") воспринимались как глоток свежего воздуха. Это, в сущности, и был тот ворованный воздух, о котором говорил Мандельштам.

Нечто подобное, вероятно, имел в виду и Михаил Михайлович Зощенко, когда, прочитав какой-нибудь унылый советский роман, говорил:

— Ну, это диктант...

Весь этот наш институтский фольклор был хорош уже тем, что это был не диктант. Каким бы пустяком ни был какой-нибудь очередной стишок, звучавший на очередном нашем институтском капустнике, какими бы относительными и даже сомнительными ни были его художественные достоинства, он всегда оставался вольным сочинением на вольную тему.

По составу крови

"Есть люди, без которых невозможно представить себе настоящую литературную жизнь. Есть люди, которые, независимо от того, много или мало они написали, являются писателями по самой своей сути, по составу крови... Таким писателем был Гехт", — писал К. Паустовский.

Семен Григорьевич Гехт не вошел в число звезд первой величины южнорусской литературной школы. Он упоминается в литературных словарях, но все же имя и творчество его сегодня практически забыто. И знают его в основном как персонажа книги Паустовского, много и тепло о Гехте вспоминавшего.

Согласно справочникам, Гехт родился 14(23) марта 1903 года в Одессе. Но в книге одесского раввина за 1903 год запись о рождении отсутствует.

В семье было три сына. Старший Давид, Семен и младший — Шулим. Родители погибли во время погрома 1905 года. Семен Гехт жил в семье Давида (дочь Давида была немного старше своего дяди). О юности Гехта известно немного. По семейным воспоминаниям, Семен был замкнут, немногословен, очень любил читать. Часто уединялся и писал стихи. Фира Раскина, племянница Гехта, со слов матери знает, что он уехал в Москву еще в 1919 на крыше паровоза.

В действительности он жил в Одессе до 1923 г. Работал рассыльным в типографии, наборщиком.

В это же время Гехт подружился с молодым поэтом Сергеем Бондариним. И — удивительная вещь! — судьбы их во многом повторяют друг друга. Оба — ученики Э. Багрицкого, обоим покровительствовал И. Бабель, влюблены были в одну и ту же девушку — Генриетту Адлер, были фронтовыми журналистами, арестованы в 1944, отсидели, вернулись, остались друзьями.

С. Бондарин, вспоминая зиму 1920-1921 года и вечера в "Коллективе художниц" — там обитали милые девушки Маруся Тарасенко (будущая жена И. Ильфа), Генриетта Адлер (будущая жена Бондарина), Тоня Трепке и Рая Менделевич, туда приходили Э. Багрицкий, И. Ильф, Л. Славин, — писал: "Пришел задумчивый пролетарий Гехт в кожаной куртке наборщика, попахивающей свинцом".

22 января 1922 на страницах литературного приложения к газете "Известия Одесского губпрофсовета, губисполкома и губкома КП(б)У" были напечатаны стихи С. Гехта "9 января". Стихи и рассказы его стали появляться в дневном и вечернем выпусках "Известий", на страницах журналов "Силуэты" и "Шквал".

Гехт, как и многие начинающие литераторы, посещал литературную организацию "Потоки Октября", лидером которой был Э. Багрицкий. "В кружке этом я познакомился осенью 1922 года со всеми одесскими литераторами того времени".